

Борис
Савинков

ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО

Москва
T8 RUGRAM
2020

УДК 82-94
ББК 83.3(2Рос=Рус)
С13

Савинков, Б. В.

С13 То, чего не было / Б. В. Савинков. — М. : Т8 RUGRAM, 2020. — 460 с. — (Навстречу революции).

ISBN 978-5-521-78031-0

Книжная серия «Навстречу революции» — издательский проект, нацеленный на составление современного, всеобъемлющего и наиболее широкого ряда произведений классиков отечественной политической и революционной мысли. Сегодня, оглядываясь на мыслителей прошлого, мы понимаем, что множество книг, легших в основу нашего представления о современности и об общественном укладе, не утратили своей остроты, актуальности и значимости — напротив, сегодня мы можем по-новому взглянуть на труды, выковавшие наш век, и оценить их значимость и вневременность.

Многие труды, выходящие в рамках издательского проекта, долгие годы были недоступны на книжном рынке; выросли поколения, не знающие имена и труды классиков. Задача серии «Навстречу революции» — дать возможность современному читателю ознакомиться и осмыслить классиков революционной мысли, а также понять их значимость для дня сегодняшнего.

УДК 82-94
ББК 83.3(2Рос=Рус)
ВІС FC
ВІSAC FIC004000

ISBN 978-5-521-78031-0

©Т8 RUGRAM, оформление 2020
© Т8 Издательские технологии, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.....	5
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	125
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ	252
ПРИЛОЖЕНИЕ	351

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

За границей Андрей Болотов испытывал ту же тревогу, какую испытывает ревнивый хозяин, доверив в чужие руки хозяйство. Огромная, разбросанная по всей России, партия, со своими динамитными мастерскими, тайными типографиями, боевыми дружинами, областными и губернскими комитетами, крестьянскими братствами, рабочими группами, студенческими кружками, офицерскими и солдатскими союзами, со своими удачами, поражениями, стачками, демонстрациями, интригами и арестами, казалась ему большим и сложным хозяйством, требующим всегда прилежного глаза. Он не понимал, что и товарищам его, — старику Арсению Ивановичу, доктору Бергу, Вере Андреевне, Аркадию Розенштерну и многим другим, — партия тоже представляется цветущим хозяйством, но не его, Болотова, хозяйством, а любого из них. Но если б он это и понял, он бы не мог измениться. Он бы не мог перестать чувствовать то, что единственно давало силу работать и жить «нелегально», то есть работать и жить без семьи, без угла и без имени, и безбоязненно ожидать тюрьмы или смерти. Только затаенная уверенность, что партия — мать революции и что он, Андрей Болотов, самый верный, самый послушный, самый самоотверженный ее член, — уверенность, что без него, без хозяина, партия распадется и хозяйство его обнищает, давала ему эту силу. Поэтому он не только не отдыхал, но испытывал ту тревогу, какую испытывает каждый хозяин.

Когда Болотов закончил дела за границей и настало время возвращаться в Россию, тревога эта достигла крайнего напряжения. Он уверенно знал, что товарищи продолжают раздавать запрещенные книги, печатать воззвания, устраивать забастовки и изготавливать бомбы. Он знал, что те люди, которые по самым разнообразным причинам собрались вместе и создали живое и многосложное целое, партию, продолжают, как муравьи в муравейнике, делать свою незаметную и необходимую им работу. И все же ему с жестокой отчетливостью казалось, что на этот раз, вернувшись домой, он найдет жалкие развалины того, что оставил: разрушенный и смятый дерзким врагом муравейник.

Уже давно прошло трудное время, когда он чувствовал страх. Как моряк привыкает к морю и не думает, что утонет; как солдат привыкает к войне и не думает, что будет убит; как врач привыкает к тифу или чахотке и не думает о заразе, — так и Болотов привык к своей безыменной жизни и не думал, что его могут повесить. Но где-то в глубине усыпленной души жило темное и многотревожное чувство, — то самое, которое не покидает ни моряка, ни врача, ни солдата. Повинуясь ему, Болотов безотчетно, по кучной привычке, следовал «конспирации». Он не прятался от родных и знакомых, а просто не мог бы понять, как можно без нужды, для развлечения видаться со знакомыми и родными. Он не умалчивал о партийных делах, а просто не мог бы понять, зачем говорить о них с посторонними. Он не чуждался каждого нового человека, а просто не мог бы понять, как можно верить первому встречному. Он не видел, что все его отношения с людьми, начиная с дворников и швейцаров и кончая матерью и отцом, построены на боязни, на усердном желании скрыть те подробности жизни, которые единственно занимали его. Но если б он это увидел, он бы не мог жить иначе. Он сказал бы себе, что эта ложь праведна, ибо только строгою тайною охраняется партия, то есть необходимое для революции, его хозяйство.

Еще у всех были в памяти убийство Плеве, кровавое воскресенье, взрыв 4-го февраля, и Ляоян, и Порт-Артур, и Мукден. Все старые и молодые, чиновники и рабочие, военные и студенты, сторонники правительства и социалисты одинаково чувствовали, что происходит что-то новое, небывалое и потому страшное: колеблется ветхий, привычный, веками освященный порядок. Но хотя все это чувствовали, все продолжали жить как всегда: своими ничтожными житейскими интересами. Так же, как все, жил и Болотов. Он читал в революционных листках и сам писал в партийных газетах, что «народ пробудился», что «уже гордо поднято красное знамя» и что «недалеко то время, когда падут оковы самодержавия». Но он читал и писал это не потому, что понял величавый смысл совершавшихся в то время событий, а по многолетней привычке говорить и писать именно эти слова. Зоркий хозяин, он давно заметил рост своей партии и, заметив его, уверовал в неотвратимую и победоносную революцию. Победы правительства он предвидеть не мог; он думал, что восстанут крестьяне, сто миллионов русских крестьян. И, думая так, он был занят своим ежедневным хозяйским делом, и пока он был занят именно им, он действительно был полезен той революции, в которую верил.

В Берлине, накануне отъезда в Россию, он сбрил бороду, выбрал английское, темное, не бросающееся в глаза пальто, снял улику — широкополую шляпу — и надел котелок. Не отдавая себе отчета, он сделал это тщательно и обдуманно. Ему нужно было слиться с толпой; слиться с толпой и быть таким, как и все, — значило избежать досадного «наблюдения».

Уже сидя в вагоне, он купил не любимый социалистический «Vorwärts», а бульварную, чужую ему газету. По привычке закрывшись ею, он просмотрел телеграммы. На первой странице было крупными буквами напечатано: «Гибель русской эскадры».

Когда Стессель сдал Порт-Артур и потом, после рокового Мукдена, — Болотов не испытал ничего, кроме радости. Всякую войну он считал преступлением, во всякой войне видел бойню, всегда вредную и жестокую. Но если бы кто-нибудь спросил, что он думает о японской войне, он бы без колебания ответил, что японская «авантюра» хотя и жестока, но полезна. Он бы не мог ответить иначе. Он думал, что поражение России — поражение самодержавия, победа японцев — победа революции, то есть победа партии; то есть его, Болотова, победа. Противоречия этих двух мнений он не видел, как не видел никто, кто слушал на митингах его речи.

Но теперь, прочитав телеграмму, он не испытал радости — знакомого и немного стыдного чувства своей победы: в эскадре Рождественского служил его брат, лейтенант флота, Александр Болотов.

«Как только дым пронесло, — телеграфировал немецкий корреспондент, — бой возобновился с удвоенной силой. Все японские корабли сосредоточили огонь на броненосце „Ослябя“, и скоро „Ослябя“, весь в пламени, вышел из строя. Пожары начались и на „Суворове“, и на следовавшем за ним „Александре“. Потом загорелось „Бородино“ и другие суда. Все японские силы были в полном составе, и так продолжался бой до 2 ч. 20 м. пополудни. В 2 ч. 50 м. „Ослябя“ пошел ко дну».

Болотов закрыл глаза. Он попытался вообразить, как идет ко дну броненосец. Однажды, в океане, у французского берега, он заметил затонувшую шхуну: вершины двух сиротливых мачт. И теперь, воображая «Ослябю», он невольно видел перед собою этот неизвестный корабль. Он знал, что на затопленном броненосце погибло в море несколько сот молодых и здоровых людей. Как социалист и революционер, он должен был возмутиться, — возмутиться тем, что он называл преступною бойней. Но не было возмущения: он не мог представить себе ни разгрома эскадры,

ни разбитых, горящих судов, ни гибели «Осляби», ни простой и страшной матросской смерти. Газетная телеграмма оставалась сухим клочком печатной бумаги.

«Когда вышли из строя „Суворов“ и „Александр“, — читал Болотов дальше, — корабли повел броненосец „Бородино“, оставшийся головным. „Суворов“, охваченный пламенем, все еще продолжал бой, но вскоре, под японским огнем, потерял переднюю мачту и обе трубы. Находившийся на „Суворове“ главнокомандующий адмирал Рожественский еще в начале боя был ранен осколком и передан на дестройер „Буйный“. Командование перешло к адмиралу Небогатову. В 7 ч. вечера начался сильный пожар на „Бородине“, и он, весь в пламени и дыму, пошел ко дну».

Болотову вспомнился его брат, невысокий, широкоплечий молодой офицер во флотском мундире. О брате он думал редко. Он знал, что брат на войне, на Дальнем Востоке, и не сочувствует революции. Этого было довольно. Было некогда думать о том, что непосредственно не касалось возлюбленной партии. Но теперь стало жутко: «Не убит ли... Кто?.. Брат?.. Саша?.. Не убит ли Саша там, в Цусимском бою?..»

И отчетливо, во всех подробностях, ясно, как иногда бывает во сне, встала перед его глазами картина боя. Вот тяжелый, черный, израненный броненосец. Расстреляны трубы. Разбиты пушки. Раздроблены мачты. Но еще вьется Андреевский флаг... А вот бледный, в изорванном мундире, весь в крови Саша. Даже видно, где он лежит: на горбатой и мокрой железной палубе, навзничь, у правой кормовой башни. Даже показалось, что качнуло корабль и через полузатопленную корму с плеском бьют волны. Даже был слышен этот гремучий плеск.

«Адмирал Небогатов, — уже не понимая слов, читал Болотов, — поднял сигнал о сдаче, и четыре русских броненосца: „Николай I“, „Орел“, „Апраксин“ и „Сенявин“, 16 мая в 10 ч. 30 м. утра сдались японской эскадре».

«...Саша убит... Неужели Саша убит?..» И снова четко вспомнился брат, каким он видел его в последний раз в Петербурге на Невском в осенний холодный и солнечный день. Спокойные, молочно-голубые глаза и насмешливая улыбка: «Прощай, Андрюша, нам с тобою не по дороге...» Вспомнился и свой жестокий ответ. И захотелось вернуть этот солнечный день, свои озлобленные слова, и обнять, и забыть, — как казалось теперь, — напрасную рознь.

Поезд, свистя, загредел буферами. Блеснули мутные фонари. Мелькнули серые шинели жандармов.

В вечернем воздухе странно прозвучали русские голоса. Граница. Александрове.

Болотов бросил газету. Стараясь не думать ни о Цусимском бое, ни о Небогатове, ни о брате, ни об «Ослябе», он пошел к дверям таможенной залы. Высокий, бритый, худой, с сигарой в зубах, он напоминал англичанина. И действительно, у него в кармане был английский паспорт: Генри Мак-Мюк. В тесной, полной жандармов, зале было жарко и скучно ждать. И его доброе и твердое, с такими же, как у брата, голубыми глазами, лицо, не выражало ничего, кроме брезгливой скуки.

Утром, уже из Варшавы, он дал телеграмму в Берлин:

«Alles bezahlt», что значило: «проехал благополучно».

II

Приехав с утренним поездом в Петербург, Болотов в тот же день под вечер, когда стемнело, позвонил в пятом этаже громадного дома на Лиговке. Еще из прихожей, снимая пальто, он услышал сухой и резкий, надтреснутый бас Арсения Ивановича. Отвечал ему чей-то другой, взволнованный голос.

— Да нет, что же тут страшного? — внушительно говорил Арсений Иванович. — Страшного, кормилец, я не вижу тут ничего: вода не на их, а на нашу мельницу. Третьего дня — Порт-Артур, вче-